Шолохов М. А. 20/V-90

к 85-летию со дня рождения писателя: *неизвестная рукопись Михаила Шолохова*

Исток «Тихого Дона»

Все практически без исключения сочинения шолоховедов на протяжении последних десятилетий утверждают: вернувшись на Дон из Москвы в 1925 году, Михаил Шолохов приступает к работе над романом под названием «Донщина».

Все, кто упоминает о «Донщине», имеют в виду сочинение, к которому писатель приступил в конце 1925 года. О нем он сам неоднократно упоминал. Но в отличие от шолоховедов никогда не называл «Донщина».

Почему?

Откуда вообще появилась «Донщина», кто первый и когда заговорил о ней? Ввел в научный оборот? Побывавший в предвоенные годы в доме автора «Тихого Дона» писатель Виталий Закруткин пишет, как при первой встрече Шолохов охотно рассказывал ему о своей поездке в Скандинавию. Но как только гость завел разговор о литературе, о романе, над которым тогда еще работал хозяин дома, то вместо ответа услышал в свой адрес недоуменный вопрос:

— Ты, друг, репортер, что ли? Бог с ними, с прототипами. Давай лучше поговорим о стерляди.

Однажды, однако, Михаил Шолохов сделал исключение из правил и ответил именно репортеру на многие литературоведческие вопросы. На эти высказывания опираются все шолоховеды. Я имею в виду репортера газеты «Известия» Исаака Экслера, в предвоенные годы по заданию редакции не раз прилетавшего в Вешенскую. В 1935, 1937 и в 1940 годах на страницах «Известий» помещены три репортажа из станицы, где впервые сообщается ценная информация о том, как создавался «Тихий Дон».

Вот запись из беседы, состоявшейся в конце 1937 года. Она происходила спустя двенадцать лет после начала работы над романом. Итак, цитирую:

«— Скажите, как возникла у вас мысль написать «Тихий Дон»?

— Начал я писать роман в 1925 году. Причем первоначально я не мыслил так широко его развернуть. Привлекала задача показать казачество в революции. Начал я с участия казачества в походе Корнилова на Петроград... Донские казаки были в этом походе в составе третьего конного корпуса... Начал с этого... Написал листов 5—6 печатных. Когда написал, почувствовал, что не то... Для читателя останется непонятным — почему же казачество приняло участие в подавлении революции. Что это за казаки? Что за Область Войска Донского? Не выходит ли она для читателей некой терра инкогнито?

Поэтому я бросил начатую работу. Стал думать о более широком романе. Когда план созрел — приступил к собиранию материала. Помогло знание казачьего быта.

— Это было?

— «Тихий Дон», как он есть, я начал писать примерно с конца 1926 года».

Как видим, здесь ни о какой «Донщине» Михаил Шолохов не упоминает. Он говорит только, что начал писать роман в 1925 году с описания похода казаков на Петроград. Потом бросил начатое сочинение, не дописав его до конца, и примерно с конца 1926 года начал роман «как он есть».

Раскроем подшивку газеты «Известия» за 1940 год. В номере от 12 июня напечатан еще один репортаж Исаака Экслера из Вешенской под названием «Как создавался «Тихий Дон». Этот материал появился в связи с тем, что писатель к тому времени завершил и опубликовал всю эпопею. Газетный репортаж состоит, как и предыдущий, из двух пластов. Первый — принадлежит корреспонденту, информация в нем образовывалась из его наблюдений, бесед с близкими писателя, его земляками, она как бы обобщенная, типизированная. Второй пласт образуется из цитирования ответов самого писателя.

Эти пласты по достоверности неравноценны: в первом, репортерском, порой встречаются неточности, погрешности, в то время как в шолоховском тексте — сообщение из первых рук, первоисточник.

В репортерском пласте, в публикации от 12 июня есть информация, повторяемая всеми шолоховедами:

«В 1925 году после выхода в свет «Донских рассказов» двадцатилетний начинающий писатель Михаил Шолохов принимает твердое решение вернуться домой, чтобы писать там большое произведение о Доне. По-видимому, эта мысль зрела давно. Во всяком случае, когда Шолохов озаглавил свою первую книгу «Донские рассказы», он это сделал не случайно.

Уезжая из Москвы на Дон, Шолохов еще сам твердо не знал, во что выльется его затея. Весьма скупой на рассказы, он однажды заявил нам:

— Хотелось написать о народе, среди которого я родился и который я знал.

Шолохов возвращается на Дон в станицу Букановскую. К осени 1925 года он уже начинает работать над новым произведением. **Уже было название «Донщина»** (выделено мною. — **Л. К.**). Шолохов решил описать роль казачьих дивизий после февраля 1917 года. Он понимал, что перед ним задача трудная.

Будущему исследователю еще предстоит восстановить обстановку, в которой работал писатель в то время. Шолохов не любит вспоминать об этом».

Вот где в газетном репортаже появляется первый раз упоминание о «Донщине». Репортер относит это название к работе, начатой осенью 1925 года, к описанию событий «после февраля 1917 года».

Еще за три года до этой беседы Михаил Шолохов признавался, что «многое уже забылось, выветрилось из памяти, кажется таким бесконечно далеким».

Название «Донщина», без сомнения, журналист услышал от писателя. Но к чему относилось это название, он, по-видимому, не понял, до конца не разобрался, в чем, по-видимому, виноват не столько он, сколько тот, кто давал интервью, поскольку многое из того, о чем говорилось тогда, казалось ему «бесконечно далеким», не волновало.

Скорее всего, «Донщина» относится к названию не романа, а «повести о Подтелкове и Кривошлыкове», ненаписанной, о которой Михаил Шолохов рассказывал читателям в 1928 году в Ростове, в Доме печати на встрече со студентами.

Роман с самого начала работы над ним назывался «Тихий Дон». Это мы узнаем из тех же репортажей в «Известиях», когда их автор переходит от собственных наблюдений к цитированию Михаила Шолохова и его жены Марии Петровны.

Сообщая о жизни писателя в 1925 году, журналист пишет:

«Нам рассказывали об этом периоде следующий эпизод. Шолохов, еще когда жил в станице Букановской, в доме своего тестя, закрывался в комнате и писал. Он выходил с красными воспаленными глазами, словно пьяный.

— Что ты пишешь? — спрашивали у него.

— Роман!

— Роман?! Так-таки целый роман? — шутили над ним.

— Да, целый роман!

— Как же этот роман будет называться?

— «Тихий Дон».

— Что же это за название такое? Роман — и вдруг река.

— Это прекрасное название! — отвечал он убежденно. — И это будет настоящий роман».

Был и другой журналист, с которым Михаил Шолохов также не раз беседовал на литературоведческие темы, сообщив много ценного о себе, о том, как создавался «Тихий Дон». Это сотрудник «Правды» Исай Лежнев, руководивший отделом литературы, чья монография «Михаил Шолохов» появилась в 1948 году. В годы войны писатель как корреспондент «Правды» не раз встречался в редакции с И. Г. Лежневым.

Вот что говорил писатель, будучи в редакции «Правды». «Я начал с описания корниловщины, с нынешнего второго тома «Тихого Дона», и написал изрядные куски. Потом увидел, что начинать надо не с этого, и отложил рукопись. Приступил заново и начал с казачьей старины, с тех лет, что предшествовали первой мировой войне. Написал три части романа, которые и составляют первый том «Тихого Дона». А когда первый том был закончен и надо было писать дальше — Петроград, корниловщину — я вернулся к прежней рукописи и использовал ее для второго тома. Жалко было бросать уже сделанную работу».

...Прошло много лет. В декабре 1965 года М. А. Шолохов побывал в Швеции в городе Упсала у студентов факультета славистики университета. Сопровождавший его переводчик В. Рымко записал вопросы, которые студенты задавали лауреату Нобелевской премии, и опубликовал запись этой беседы спустя двадцать лет, 5 июня 1985 года в «Литературной газете». Среди вопросов все тот же: с чего начинался «Тихий Дон»?

Вот еще один рассказ Михаила Александровича: «За «Тихий Дон» я взялся, когда мне было двадцать лет, в 1925 году... Поначалу заинтересованный трагической историей русской революции, я обратил внимание на генерала Корнилова. Он возглавлял известный мятеж 1917 года. И по его поручению генерал Крымов шел на Петроград, чтобы свергнуть Временное правительство Керенского. За два или полтора года я написал шесть — восемь печатных листов... Потом я почувствовал, что-то у меня не получается. Читатель, даже русский читатель по сути дела не знал, кто такие донские казаки. Была повесть Толстого «Казаки», но она имела сюжетным основанием жизнь терских казаков. О донских казаках по сути не было создано ни одного произведения. Быт донских казаков резко отличался даже от быта кубанских казаков, не говоря уже про терских, и мне показалось, что надо было начать с описания вот этого семейного уклада жизни донских казаков.

Таким образом я оставил начатую в 1925 году работу, начал сюжетно с предвоенных лет и с описания семьи Мелеховых, а затем так оно и потянулось».

Читая эти высказывания Шолохова, никому и в голову не приходило, что сохранилась целиком рукопись не только четвертой части «Тихого Дона», где описывается начало революции, корниловщина. Сохранился о тех же событиях кусок прозы 1925 года! Тот самый ручеек, который превратился в конце концов в широкое полноводное течение «Тихого Дона».

Возможно, что и впредь выходили бы исследования, где первоначальный вариант романа называли бы «Донщина». Возможно, что и дальше не было бы ясности: когда и с чего именно начинался роман, кто был его главный герой, если бы не сохранившиеся страницы рукописи, привезенные в Москву Михаилом Шолоховым весной 1929 года. Тогда ему пришлось показывать их друзьям-писателям, чтобы опровергнуть появившуюся клевету о якобы совершенном им плагиате. Итак, перед нами кусок прозы 1925 года. Сейчас каждый сможет прочесть его сам и увидеть, с чего именно начинался великий роман.

Таким образом, мы получаем документальное подтверждение, что той далекой осенью, на 21-м году жизни писатель начал работу над сочинением, которое тогда уже получило название, ставшее с тех пор неизменным, — «Тихий Дон».

Сохранилось десять страниц этой рукописи, две главы. В них действительно, как вспоминал не раз Шолохов, речь идет о событиях, относящихся к лету 1917 года, когда контрреволюционные генералы решили поднять мятеж, подавить красный Петроград, ввести туда казачьи полки, сняв их с фронта.

По сохранившемуся отрывку видишь, как быстро созрел и возмужал писатель, как быстро прошел дистанцию между отрывком, помеченным «1925 год. Осень», и рукописью, за которую сел в ноябре 1926 года, когда на чистом листе бумаги снова появились слова «Тихий Дон». Роман. Часть первая».

Отныне нам известно, что первоначально главный герой назывался не Григорием Мелеховым, а Абрамом Ермаковым. Установлено, что прообразом Мелехова послужил реальный казак Харлампий Ермаков, с которым Михаил Шолохов беседовал и переписывался. То был человек незаурядный, служивший и у белых, и в рядах Красной Армии, расстрелянный органами ОГПУ. Встречаем мы в публикуемом отрывке героев, попавших на страницы романа, — Ивана Алексеевича, Федота Бодовскова...

Эпизод из второй главы прозы 1925 года — митинг казаков, отказавшихся следовать в Петроград на подавление революции, описан в XV главе четвертой части второй книги «Тихого Дона». А завершающий аккорд этой главы слово в слово соответствует окончанию публикуемого сегодня отрывка, с той лишь разницей, что в нем вместо большевика Ивана Алексеевича фигурирует Абрам Ермаков.

«Иван Алексеевич, глянув в последний раз, увидел эту ослепительно сверкающую полоску шелка, и перед глазами его почему-то встала взлохмаченная ветром-суховеем грудь Дона, зеленые гривастые волны и косо накренившееся, чертящее концом верхушку волны белое крыло чайки-рыболова».

Как видите, если у кого и «списывал» Михаил Шолохов, так только у самого себя!

Итак, любители русской литературы впервые могут прочесть целиком отрывок из неопубликованного варианта романа Михаила Шолохова «Тихий Дон».

Лев КОЛОДНЫЙ.

Михаил Шолохов, конец 20-х годов.

Из архива Е. Г. Левицкой.

Михаил Шолохов

1925 год. Осень.

Тихий Дон

Роман. Часть I.

I

Просачиваясь сквозь изжелта-зеленую лохматую листву орешника, солнечные лучи серебряной рябью пятнили землю. В лесу густела прохлада. Крепко и хмельно пахло надвигающейся осенью, листом-падалицей и вянущим острым и тоскливым запахом мертвой травы. За топью, за зеленой непролазью ольшаника, возле шоссе, убегающего к местечку Изволочь, с перебоями работал немецкий пулемет. В промежутки раскатисто громыхали винтовочные залпы.

Абрам поглядел на коня, звякнувшего стремем, и снова припал к кусту. Земля под коленями упруго вгиналась, после недавнего дождя была она мягка и послушна, ослизлые листья шиповника приятным холодком щекотали ладони рук, крепко вцепившихся в ветку. Косо изогнув левую бровь, ощерив зубы под висячими черными усиками, Абрам до тех пор глядел в кусты на противоположной стороне поляны, пока на синих, по-лошадиному выпуклых белках его глаз не блеснули от напряжения слезы. Быстро и опасливо глянул на коня, стоявшего в лощинке, в саженях десяти от него, и снова стремительно шмыгнул глазами по направлению к кусту на той стороне поляны.

Куст разросся широко и буйно. От подножья опутал его дикий хмель, а на вершине причудливой башней громоздились пышные, молочно-белые гроздья девичьей кашки, уронившей ветку от родимого ствола. Как ни старался Абрам — ничего не мог разглядеть. На одно мгновенье он даже подумал, что рука с красным кантом на обшлаге серого рукава, протянувшаяся из-за куста за фиолетовой ягодкой ежевики, ему привиделась, но куст вдруг явственно шевельнулся. Шевельнулся и стих. Будто ветер с разбегу качнул его плечом и стал в стороне, любуясь, как суетливо кивают наверху кисти девичьей кашки.

Конь в лощине заржал заливисто и звонко. Абрама пронизала дрожь... Куст, покрытый сверху девичьей кашкой, дрогнул как от удара, и с той стороны вдруг пружинисто вскочил немецкий солдат. Изогнувшись, вобрав голову в плечи, он пару секунд оглядывал лес. Абрам увидел его измазанные серые брюки, короткие голенища сапог, куртку, незастегнутую сверху; увидел отвисшую челюсть, покрытую бледно-рыжей щетиной, серую дрожь губ. Абрам слегка лишь повел стволом винтовки и в прорези, на фоне серого растегнутого сверху мундира, остановилась, чуть-чуть подрагивая, мушка.

Пахнул ветер, и перед глазом Абрама затрепетал багряный, еще не упавший на землю полуживой листок... Немец медленно поворачивался, вытягивал шею с выпуклым треугольным кадыком... Абраму показалось, что сначала упал повернувшийся на каблуках немец, потом толкнула в плечо отдача, а уже потом грохнул выстрел.

Горбатясь, винтовку наперевес, бегом перебежал Абрам поляну. Боком, как во время сна, плотно прижав землистую щеку к земле, лежал немец. Левая рука сжимала желтый ремень винтовки. Абрам присел на корточки, увидел на подбородке и углах губ убитого иссиня-фиолетовый засохший сок ежевики. Той ежевики, которую рвал, протягивая руку из-за куста. Глянцевитая, с медным орлом, каска лежала около. Абрам вяло потянул ее за отстегнутый ремешок, взял в руки и зачем-то понюхал. Изнутри пахла она потом, мылом и еще чем-то, волнующе острым запахом. Абрам посмотрел на оскаленные, коричневые от табака зубы, на иссиня-фиолетовый сок земляники (очевидно, здесь авторская описка. — **Ред.**), чернивший углы губ и подбородок, и неожиданный приступ колючего сожаления и тоски тошнотой подступил к горлу. Помотав головой, Абрам полез в карман за кисетом, но вспомнил, что кисет и спички остались в шинели, увязанной в тороках. Сунул руку в отопыренный карман немца, конвульсивная дрожь ноги убитого передалась его пальцам, нащупал четырехугольный предмет, красная, в сафьяновом переплете книжечка, письмо, исписанное непонятными остроугольчатыми буквами, измызганная фотография полной немолодой уже женщины, с лобастым и безбровым ребенком на руках, три никелевых монетки... Качнувшись, Абрам стал на ноги и пошел через мшистую поляну к коню. Поставил ногу в стремя, привычно обнял ладонью высокую луку казацкого седла и едва вскинул отяжелевшее тело в седло.

В версте от леса, возле развалин местечка, стертого орудийным огнем июльских боев, догнал Абрам вахмистра с семью казаками. Вахмистр остановил своего белоногого коня, спросил, помахивая плетью:

— Не напал на ихний разъезд?

— Нет, не видал.

— А штой-то ты, Ермаков, быдто с лица сошел? Должно зоревал с бабой ноне сладко?

Абрам, сузив глаза, поглядел улыбающемуся вахмистру в переносицу и, к удивлению остальных казаков, длинно и безобразно выругался.

— Но-но, ты!.. Гляди у меня!.. — наезжая конем, заревел беспричинно оскорбленный вахмистр, но Абрам не спеша, как будто случайно продел руку в темляк шашки и натянул поводья. Глянув ему в глаза, вахмистр поднял плечи так, что погоны выгнулись дугами, и уже миролюбивей проговорил:

— Осатанел ты што ли? Об пенек ушибся, али как?

Абрам вытянул своего коня плетью, вздернул его на дыбы и, пустив бешенным наметом, придерживая левой рукой фуражку, полетел по проселку, изрезанному орудийными колесами, осыпав казаков и вахмистра ошлепками грязи.

— Чево он? — удивленно спросил вахмистр, поворачиваясь к остальным казакам.

— Известно, чево... — ответил Федот Бодовсков и надежно захоронил улыбку в курчавой цыганской бороде. — Известно, нудится казак. Тоскует... Иной раз пастух выгонит табун на зеленку, покеда солнце росу подбирает, скотинка ничево, кормится, а как станет солнце в дуб, заюжит овод, зачнет скотину сечь, вот тут... — Федот шельмовато стрельнул глазами в казаков и продолжал, обернувшись к вахмистру: — Тут-то, господин вахмистр, и нападает на скотину бзык. Ну, да ты сам знаешь, чево тебе расписывать... Обнаковенно, какая-нибудь корова задерет хвост до безобразности, мыкнет, да как учешет! А за ней весь табун. Пастух бегет: ай-яй-яй! ай-яй-яй! Только иде ж там... Метется табун лавой, не хуже как мы под Райбродами на 13-й железный немецкий полк в атаку ходили лавой. Иде ж там, рази удержишь?

— Ты к чему это загинаешь-то? — перебил вахмистр.

Федот помолчал. Плетью согнал с шеи коня присосавшегося слепня и, намотав на палец завиток смолисто-черной бороды, заговорил не сразу:

— Четвертый год пошел, как нас в окопы загнали. Гибнет народ, а все без толку. За што и чево? Никто не разумеет... К тому и говорю, что вскорости какой-нибудь Ермаков бзыкнет с фронта, а за ним весь полк, а за полком армия! Будя...

— Вон ты куда...

— Туда самое. Не слепой, вижу — на волоске фронт держится, все на волоске держится! Тут только шумнуть: «брысь!». И полезет все под такую мать! На четвертом году и нам в дуб солнце стало!..

— Керенский надысь в четвертую дивизию наезжал, речь казакам на митинге говорил... — начал вахмистр.

— Чево там Керенский! Ты бы послухал, што солдаты толкуют: по справедливости рассуждают. Дён пять назад бегал я верхи в штаб с донесением, передал пакет дежурному офицеру и выхожу из халупы. Присватался ко мне солдатик, голова обвязана, сам с виду благородный, очки на шнурке, как у нашего эсаула. Так ить он прямо режет: товарищ-казак, говорит, надо бросать фронт, потому что эта война бесправная. Это, говорит, пущай буржуазы воюют, а нам довольно совестно за ихние интересы подставлять лбы и оставлять жен вдовами и детей сиротами. Он мне такую картину расписал...

— Времена другие стали, — вздохнул вахмистр. — Все ета революция наделала... Дисциплина никудышная стала, нету в войсках уважения к начальству, да по правде сказать, и духу прежнево нет в казацком войске. Обмужичились казаки! Якшаются с солдатами-лапотниками, а это уже последнее дело. Не будет скоро казаков, переведутся. Дед мой бывалоча рассказывал, как в турецкую войну сражались. То ли дело!..

— Мы в 14-м году тоже с песнями на фронт шли! В Новочеркасске на проводах генерал Шумилин с автомобиля с нашим полком прощался: «Донцы-молодцы! Ляжьте костьми на поле чести, а не посрамите Тихий Дон и казацкую славу! За веру, царя и отечество, ура!» Это он с автомобиля голос подает и рукой в перчатке махает. А мы — то-то дури много было! — «Рады стараться», ревем, «умрем, а не выдадим!», а иной станишник осатанеет, коню на шею сляжет и прямо ревет побугаиному от такой великой радости... — Федот Бодовсков желчно усмехнулся и продолжал: — Дунул оркестр, тронулся полк, бабы цветы под коней кидают... А на вокзале как зачали грузиться, вторая сотня грузится в вагоны, а у нас песельники ревут... В нашей сотне казачок был Раздорской станицы, так он с вокзала как пошел на присядках да до самого вагона, по подмостям в вагон ввалился все на присядках... В вагоне и то бил с полчаса... А на позиции как только пригнали нас — на четвертый день и ему, сердяге, орудийным стаканом половину головы оторвало... Дома-то баба и трое детей остались, а братьям нужна она здорово? А за што пострадал человек? За што воюем?

Вахмистр тронул коня машистой рысью. Молчавшие всю дорогу казаки, привстав на стременах, затрусили следом. Федот Бодовсков поравнялся с вахмистром и, схилившись с седла, опираясь рукой о потный круп вахмистрского коня, спрашивал, полыхая нехорошим румянцем:

— Скажи, за что воюем?

Вместо ответа вахмистр ткнул концом плети в клочковатое облачко, прилипшее к синей эмали неба: под облаком, хищно распластав изогнутые крылья, с немым перекатистым клекотом кружил, забирая высоту, немецкий аэроплан.

II.

Абрам передал коня коноводу и по ступенькам спустился в землянку. В проходе между высоких стен, сложенных из мешков с землей, пахло гнилью и земляной ржавчиной. В землянке на бревенчатых нарах в полутьме резались в карты. Рыжий длинноусый казак Сердинов сидел с краю, выпустив из ватных шаровар исподнюю клейменную рубаху, шевеля узловатыми пальцами разутых ног. На скрип хворостяных дверей, приклященных ветками дуба, он повернул лохматую голову.

— Садись, Абрам, на мое место. Не везет мне ноне, греби ее мать! Две керенки проиграл, да немецких марок восемь штук.

Тасуя сальную пухлую колоду, Меркулов, недавно произведенный в урядники, скороговоркой проговорил:

— Он ноне и гимнастерку проиграл. Видишь, растелешенный сидит.

— Брешешь, господин урядник! Я ее ишшо вчерась просадил.

— С утра поднялась тревога, выбегли из землянок, а он в рубахе. Сотник мимо бежит, спрашивает: «Почему без рубахи?» «Сжег, — говорит, — цыгаркой, один ожерёлок остался».

Абрам с удивлением оглядел хохотавших казаков и медленно снял с плеча винтовку. Понемногу, очутившись в обычной обстановке, принюхавшись к спертому, сырому, пропитанному табачным дымом воздуху землянки, он стал приходить в себя от того неопределенного тяжелого, как угар, чувства недоумения и гнетущей тоски, которое охватило его после убийства немецкого солдата. Ему казалось, что если он сейчас скажет об этом казакам, так беспечно смеявшимся и игравшим в карты, то чувство это пройдет. Он нехотя сел на нары и, невидящими глазами глядя на карты, сказал:

— Зараз я германца пострелил...

Меркулов равнодушно взглянул на него и дал из под исподу карту.

— Прикупишь?

— Давай... Должно отбился от своих. Еду по лощине, глядь, а за кустом каска поблескивает. Я коня кинул в лощине, подползо к кусту, дальше нельзя, голощечина сажен на двадцать. Трошки полежал — вижу руку из-за куста протянул и лапает в ежевишнике. Нащупал ягодку и опять жизни не подает. Тут конь заржал, он как прянет. Стрельнул в голову. Под козырьком, возле уха пуля прошла...

Меркулов, перегнувшись, заглянул Абраму в карты.

— Эге, станица, у тебя перебор! Двадцать три вышло.

— Подбег к нему, лежит на боку, губы в ежевике замазанные.

— При нем ничево не оказалось? — с любопытством спросил Сердинов.

— Ничево... — Абрам встал.

— Не будешь играть? — спросил Меркулов.

— Нет.

— Видать, тебе придется доигрывать, Сердинов.

— Во што ватные шаровары оценишь? Почти новые, два года назад получил. Носил лишь летом, а к зиме нам интендантство легкие выдавало.

— Домой их отошли. Бабы на бахче пугало обрядют.

— Гляди, урядник, посля жалеть будешь. Твой немец-то далеко лежит, Абрам? За труд не сочту, пойду растелешу его.

Абрам, не отвечая, шагнул за дверь. В проходе столкнулся с Федотом Бодовсковым. Цепляясь шашкой об уступы мешков, махая руками, Федот почти бежал. Абрам посторонился, давая дорогу, но Федот ухватил его за пуговицу гимнастерки, зашептал, ворочая нездорово-желтыми белками глаз.

— Два полка дикой дивизии идут в тыл. Казаки гутарили, што с ними генерал Корнилов... Вот оно, зачинается!

— Куда идут?

— Чума их знает. Может, фронт бросают?

Абрам пристально поглядел на Федота: застывшая в недвижном потоке, словно вылитая из черного чугуна борода Федота была в чудовищном беспорядке; глаза глядели на Абрама с голодной тоскливой жадностью.

— Может, фронт бросают? А? А мы тут сидим...

— Пойдем к четвертой сотне в землянки: может, узнаем.

Бодовсков повернулся и побежал по проходу, спотыкаясь и скользя ногами по ослизлой притертой земле. Четвертая сотня помещалась в офицерских землянках перед уходом брошенных немцами укрепленных траншей. Возле одной из них густо толпились высыпавшие наружу казаки. От толпы отделился молоденький хорунжий.

— Ермаков, второй сотни?

— Так точно.

— Вернитесь. Созовите казаков. Передайте в третью сотню. От вашей сотни кто избран в полковой ревком?

— Я.

— Тем лучше. Сделайте это поскорее и возвращайтесь.

— Што там такое, господин хорунжий? — выглядывая из-за плеча Абрама, спросил Федот.

— Получено какое-то распоряжение. Кажется, от генерала Корнилова и начальника нашей дивизии.

Хорунжий, поблескивая новенькой кожаной тужуркой, вклинился в толпу выцветших зеленых гимнастерок. Абрам послал Федота созвать вторую сотню, а сам подошел к группе казаков, разместившихся с кисетом над краями вырытой снарядом воронки. Сосредоточенно слюнявя цыгарку, говорил председатель полкового комитета — казак Вешенской станицы — Чукарин.

— Нет и нет! Нам это дело не подходит. В Петрограде стоят казачьи части, и они отказываются выступать против рабочих и Советов. Мы не можем согласиться на предложение генерала Корнилова.

— В чем дело, станишники? — спросил Ермаков.

— Бумага пришла, — нехотя ответил один.

— Какая бумага?

— Приказ от начальника дивизии.

— Што ж ты молчишь, мать твою? — зло выругался Абрам, обращаясь к председателю ревкома.

— Чево гутарить? Не видишь што ли? Стравить хочут казаков с рабочими, навроде как собак...

— Это им не 1905 год!

— Казаки трошки умнее стали.

— Не пойдем!

Ермаков оглядел пасмурные лица казаков и толкнул в плечо председателя ревкома.

— Расскажи.

Рассыпая на колени махорку, беспокойно ерзая по земле, Чукарин кратко сообщил о том, что в полк приехали представители дикой дивизии, которая идет с Корниловым громить революционный Петроград, что некоторые казачьи части тоже двигаются к железной дороге и что от начальника дивизии пришел приказ на имя полкового командира. Поступить полку в распоряжение генерала Корнилова.

— Понимаешь, куда они нас пихают? За што мы будем воевать с рабочими? В окопах вместе кровь проливали, а теперя их же должны сничтожать?

— Молчи! — крикнул Ермаков. — Не будет ихнего дела! По домам, ребята! Станицы по нас стосковались!

Откуда-то из серого тумана качаясь приплыл к глазам образ немолодой уже, полной женщины с лобастым, безбровым ребенком на руках. На секунду Ермаков словно ощутил запах пота, мыла и еще чего-то, волнующе-острого, знакомого...

— Наши жены и дети останутся сиротами! Довольно. Мало их война наделала по Области Войска Донского? А по России?

— По домам надо... — устало махнул рукой председатель. Затушив цыгарки, казаки толпой пошли к месту, где собирался полк. Под вязом, с сломленной снарядом, засохшей вершиной, за трехногим столиком на табурете сидел командир полка, рядом командиры сотен и члены полкового ревкома. Позади, скрестив руки на суконной нарядной черкеске, поблескивая из-под рыжей кубанки косо прорезанными маслинными глазами, стоял офицер-ингуш, представитель дикой дивизии, плечо к плечу с ним стоял пожилой, рыжий черкес: придерживая левой рукой гнутую шашку, он щупающими, насмешливыми глазами оглядывал стекающихся казаков.

Глухой переливчатый шепот смолк, когда полковой командир встал с табурета и, откидывая со лба седеющий казацкий чуб, громко сказал:

— Станишники! Войсковой круг отзывает наш полк с фронта. — Сдержанный рокочущий рев и сразу, словно шашкой отрубили, тишина.

— Но перед уходом мы должны исполнить наш последний долг. Долг каждого гражданина и воина. — Полковой командир опустил глаза на бумагу, лежавшую перед ним на столе, и когда поднял глаза, увидел не казаков, сроднившихся с ним за войну, а большого многоголового, чутко настороженного и враждебного зверя.

— В Петрограде — нашей столице разнузданные рабочие и солдаты под влиянием большевистско-жидовской агитации угрожают спокойствию республики. Временное правительство в опасности. Власть может перейти к большевикам, и тогда казачеству и России придется нести расплату за свои заблуждения... Нам во что бы то ни стало надо присоединиться к отряду генерала Корнилова и восстановить порядок в Петрограде. Казаки должны, как всегда, быть блюстителями порядка и законности. Мы должны надеть узду на разнуздавшихся рабочих! — Полковой командир сжал смуглый жилистый кулак и, видя в глазах казаков сухую насмешку, злобу и недоверие, звонко стукнул им по крышке стола: — Донцы! Я водил вас четыре года в бои и схватки, я надеюсь на вас, как на родных сынов, и твердо знаю, что вы пойдете со мною восстановить поруганную честь России. Мы должны довести войну до славного конца, а не поддаваться лживым нашептываниям тех, кто куплен германскими деньгами! Теперь — по сотням! Приготовьтесь к походу. На смену нам идет пехотный полк.

— Почему ревком молчит?.. — хрипло злобный выкрик из толпы.

— Кто это сказал? — спросил командир полка, глядя через головы передних.

От слитной густой массы казаков отделился Федот Бодовсков. Стал перед трехногим, заваленным бумагами столиком. Черная борода струилась по завшивевшей рубахе недвижным чугунным потоком.

— Казаки сомневаются...

— Почему ревком молчит? — грянули голоса.

Чукарин, председатель ревкома, бледный, не поднимал головы. Полковой командир шепнул что-то офицеру-ингушу, тот улыбнулся, вытягивая в нитку сухие коричневые губы, и поднял руку:

— Слово представителю дикой дивизии!

Ингуш, мягко ступая сапогами без каблуков, вышел из-за стола и с минуту молчал, быстро оглядывая казаков, поправляя узенький наборный ремешок.

— Товарищи-казаки! Надо прямой ответ. Идете с нами или не идете?

Абрам встал, опираясь руками о зыбкие края столика. Проглоченная слюна оцарапала пересохшее горло.

— Полковой революционный комитет отказывается выступить с генералом Корниловым. Станишники, мы не хотим междоусобной войны. Нам с рабочими делить нечего!

Полк молчал. Люди жарко и тяжко дышали. Абрам глянул на офицера-ингуша, тот шептался с другим, пожилым и рыжим. Ингуш стоял к Абраму боком, на левом виске его легла косая серая полоска пота.

— Чье это мнение? Всего ревкома или единолично ваше?

Абрам холодно глянул на эсаула Сенина, задавшего вопрос.

— Всего ревкома.

— Председатель ревкома, почему вы молчите?

Чукарин, улыбаясь кривой ненужной улыбкой, встал.

— Мы промеж себя не решали этот вопрос...

Командир полка, опираясь о стол вывернутыми ладонями, перегинаясь к Ермакову, крикнул:

— Как ты смеешь говорить от имени всего ревкома? Кто тебя уполномочил?..

— Я говорю не только от ревкома, от всего полка.

У командира голубенький живчик дергает припухшее от бессонницы землистое веко.

— Казаки! Верно это?..

Полк вздохнул, дрогнул пушечным ревом:

— Верно!..

Сквозь не разжатые зубы, металлическим, привыкшим к команде голосом командир:

— Полк ответит перед правительством. И в первую очередь зачинщики. Я вынужден буду принять необходимые меры...

— Не грози! — сзади, протяжно.

Офицеры суетливо повстали с мест. Вполголоса, горячо о чем-то переговариваясь, пошли к землянкам. Командир, комкая в руке бумагу, быстро шагал впереди. Смешно и страшно подергивал контуженным плечом. Горбатил старчески сухую, но стройную спину. Ермаков проводил его глазами и смешался с ревущим шумливым потоком людей, направившихся по землянкам.

Офицер-ингуш задержался около стола. Его окружили человек десять казаков. Оглядываясь, Абрам Ермаков видел, как ингуш, сузив глаза, обнажая по-волчьи белые зубы, кидал слова. Ингуш часто поднимал вверх руку, белая шелковая подкладка отвернутого обшлага на рукаве снежно белела на фоне грязно-зеленых казачьих гимнастерок. Оглянувшись в последний раз, Ермаков увидел эту сверкающую, ослепительно белую полоску шелка, и перед глазами почему-то встала взлохмаченная ветром-суховеем грудь Дона, зеленые гривастые волны и косо накренившееся, чертящее концом верхушку волны белое крыло чайки-рыболова.